…емен Григорьев

В царской казарме

Государственное военное издательство

СССР

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

СЕМЕН ГРИГОРЬЕВ

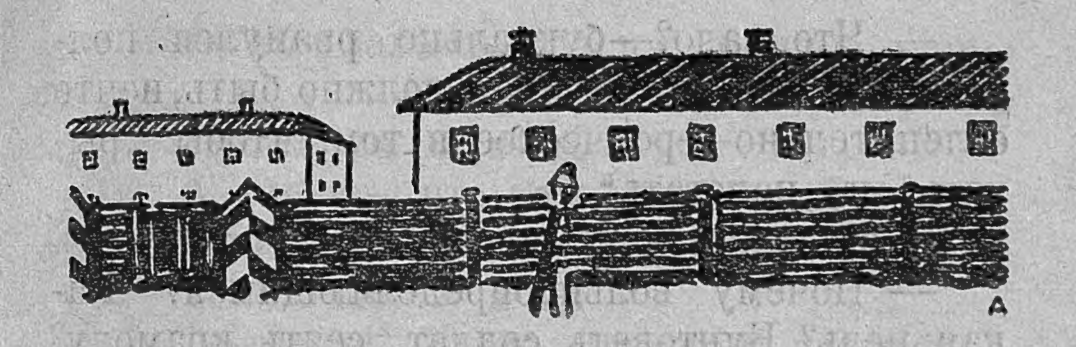
В ЦАРСКОЙ КАЗАРМЕ

Рисунки и обложка
П. АБРАМОВА и Л. УШАКОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ВОЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

Москва 1925

27-я типография
„КРАСНАЯ ПЕЧАТЬ“.
Остоженка, 10.
Главлит № 40.145.
Тираж 10.000.



I.

Чтобы удостоиться окончательного зачисления вольноопределяющимся — предстояло „показать себя“ полковому командиру. В назначенный день, около десяти утра, я пришел в офицерское собрание, помещавшееся в том же здании, где и полковая канцелярия. Едва я переступил порог передней, как подкатил экипаж полковника. Солдат-швейцар распахнул дверь и словно окаменел. Полковой командир сошел с экипажа, наклонив кузов набок, влетел в переднюю и гаркнул:

— Здорово ребя!...

— Здрав жла врод! — особенными голосами ответили солдат-швейцар и еще какой-то унтер, впившийся в отца-командира маленькими странными глазами.

— Что надо?—буквально рванулся полковник ко мне, усматривая, должно быть, нечто ослепительно-героическое в том, чтобы „рычать“ и „налетать“.

Я объяснил в чем дело.

— Почему вольноопределяющимся? Какая цель? Бунтовать солдат, сеять крамолу? Я — психолог и без труда узнаю человека. Дисциплинарным батальоном от меня не отделаться — за малейшее нарушение присяги — рас-стре-ляю!



Полковой командир.

Внезапно повернувшись ко мне спиной, он налетел на унтера.

— Здорово, молодец!

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие!—неестественно-громко отчеканил унтер.

— Фамилия?

— Крышкин, ваше высокоблагородие!

— Рота?

— Седьмая, в. в-ие!

— А, ты... Тебе говорили, что команди-

рую тебя во главе отряда на станцию Донцово?

— Так точно, в. в-ие!

— А знаешь, что там два завода с этой рабочей сволочью?

— Так точно, в. в-ие!

— То-то же! Быть солдатом не бабу... Чуть бунт—уложить на месте! На то и даны ружье да патроны... Верно я говорю?

— Так точно, в. в-ие!

Вдруг он налетел на солдата-швейцара:

— Как стоишь? Ноги вместе, руки по швам! Втяни живот, спрячь, с.с., брюхо! Грудь покажи, грудь, говорю, покажи! Крышкин, сюда! — Унтер подбежал, остановился, как вкопанный. — Колешь — так штык до трубки! Стреляешь — так прямо в сердце! Рраз—и готово. Без возни. Понял?

— Так точно, в. в-ие!

— Смотри же!

— Рад стараться, в. в-ие!

Полковой командир снова рванулся ко мне:

— Меня не проведешь! Читаю в чужой душе, как в раскрытой книге.. Ступай!

II.

Большой двор был обнесен некрашенным деревянным забором, низким и до-нельзя ветхим. Казарменные постройки ничем не

отличались одна от другой: красные железные крыши, беловато-мутные стены, квадратные, в 16 стекол каждое, окна.

Со мной поравнялся незнакомый рядовой.

— А где девятая рота? — обратился я к нему.

— Идить, господин вольноределяющий, к тому крыльцу, где поросенок, и прямо в сени и управая дверь как раз девятая.

Что я вольноопределяющийся—солдат догадался по шнуркам на моих погонах. Действием этих скромных шнурков об'ясняется, должно быть, и обращение на вы, и титул „господин".

Через пару минут я переступил порог похожего на манеж помещения. Несмотря на большие размеры, на многочисленные, в два ряда, окна, казарма казалась тесной и мрачной. Меня обдало чем-то до головокружения противным, хотя людей почти не было, и несколько окон было открыто.

Услышав, что я зачислен в девятую роту, дежурный громко позвал:

— Столяров!

Он тут же объяснил мне, что Столяров — ротный писарь.

Один из углов казармы был отгорожен деревянной, выше человеческого роста, перегородкой. На зов дежурного из-за перего-

родки вышел рядовой—высокий, худой, болезненно-бледный.

— Наш вольноопределяющий пришел, — с наивной радостью обратился дежурный к Столярову.

— Это о вашем зачислении был приказ по полку? — полувопросительно справился ротный писарь.

— Должно быть

— Мы вчерась еще ждали, — широко улыбнулся дежурный.

Столяров попросил меня в ротную канцелярию — она помещалась в отгороженном углу—предложил сесть.

— Давно служите?

— Второй год.

— Что, несладко?

— Говорите, пожалуйста, тише... Здесь стены имеют уши... — Он поспешил переменить разговор. — Знаете фамилию фельдфебеля?—Васильков. Фамилия ротного—Глебов, батальонного — Карпов, а командир полка...

— Знаю... Пищурин... Скажите: где сейчас рота? В казарме уж очень пустовато.

— А наряды? Теперь солдат редко дома... тюрьмы... банки... фабрики... что только не охраняют... Скоро начнут караулить фонарные столбы...

Столяров неожиданно оборвал и сел к столу, заваленному бумагами. Я вышел из канцелярии.

* * *

Пирамиды для ружей делили ротное помещение на две почти равные части. В меньшей части, между четвертым и пятым окном, стоял киот. Несколько поодаль от киота желтел большой прямоугольный стол. С обеих сторон, во всю длину стола, по скамье. Скамьи без спинок. В глубине, у глухой стены против дверей, старенький, весь в трещинах, шкаф. Эту часть казармы солдаты называли, как я потом узнал, обжоркой. Часть за пирамидами, занятая нарами, называлась ночлежкой. Один из углов ночлежки, отгороженный досчатой перегородкой, и занимала ротная канцелярия.

Когда я вышел из канцелярии, дневальный водил шваброй по полу, лениво и небрежно подметая. Дежурный, навалившись на стол, играл в шашки,—отсутствие партнера его очевидно не смущало. При моем появлении, решив, должно быть, щегольнуть своей властью, начальнически крикнул дневальному:

— Не можешь, чтобы полить водой?

Дневальный с унылым равнодушием отлучился в прихожую, скоро вернулся с мокрой шваброй и принялся за прерванную работу.

Дежурный подошел ко мне.

— Вас, господин вольноопределяющий, как звать? — Я ответил. — А моя фамилия Лопаткин.

— Будьте знакомы. — Он подал мне руку. — Вы по второму разряду или по первому?

— Первого.

— Служить, значит, один только год... Какой же это срок? Пролетит как пуля... Не то, что нашему брату... необразованному... В шашки играете?

— Нет.

— Интересно. Могу научить. Хотите?

— В другой раз.

— Как знаете, — надулся дежурный, — а только что вы, для примеру, делать будете? Стоять зря тоже не полагается... Шариков, — крикнул он дневальному, — погляди, — господин фельдфебель воротились...? Ежели дома, скажи, что вольноопределяющий объявился.

Дневальный Шариков, своей медлительностью шарик меньше всего напоминавший, поплелся из казармы.

Было очевидно, что мой отказ играть в шашки дежурного сильно задел. В наказание он даже исключил из моего убогого титула слово „господин“.

Вернулся дневальный.

— Идуть сюда.

В казарму вошел фельдфебель, желтолицый блондин с жиденькими усиками и небольшими колючими глазами. Поражала его „не фельдфебельская“ худоба. В полковой канцелярии я узнал, что его фамилия—Васильков.

— Вот и вы,—приветливо подал он руку.—Очень рад, что попали ко мне. Приятно иметь в своей роте вольноопределяющегося...

— Это почему же?

— А потому,—пояснил Васильков,—что у меня, например, сынок есть... вот и будете с ним заниматься... Ведь могу надеяться?

Васильков говорил гладко, довольно правильно, с бойкой уверенностью видавшего виды горожанина.

— Ваш сын учится?

— В городском училище. Очень слаб в занятиях. С вами дело пойдет веселее... А волосы у вас почти поповские,—с ласковым смешком, будто мимоходом, вставил он,—снять придется... Пустячок, по мне, могли бы и так, да служба... такой уж порядок... И сапоги для солдата уж очень аккуратненькие... Ну, ничего, бог даст, все уладится... Туже поясок затяните... нельзя, чтобы болтался. Пустите-ка... Вот так... теперь пальца не подпустишь... А где мы вам поставим койку?

— Вольноопределяющимся разрешается, кажется, ночевать дома.

— Было это, было... теперь, голубчик, строже стало...Приказано здесь... Знаете что? Устрою вас в канцелярии. Можете своей постелью пользоваться... Дам вам солдатика— все сюда доставит... Огорчены? Ну, хорошо, насяду на ротного, может быть, разрешит вам ночевать дома... Очень хотел бы сделать вам приятное...

— Спасибо.

— Не пойдете ли ко мне чайку попить?— Васильков рассмеялся.—Как ваш начальник, я даже просить не должен... просто могу приказать...

Пришлось согласиться.

*
* *

Мы прошли через кухню в небольшую комнату. Из комнаты да кухни состояла вся фелдьфебельская квартира. Убогая обстановка. Грязно, нехороший воздух. Стены комнатки украшены лубочными генералами, битвами, пестрыми от кричащих красок и подозрительных пятен. Много скверных фотографических карточек: преобладают военные, особенно фельдфебеля. При моем появлении жена Василькова заметно растерялась.

— Вот, Дуня, наш вольноопределяющийся.

Она с большим смущением взяла мою протянутую руку. У Дуни было больное старушечье лицо, испуганный, пришибленный вид.

— Ну, матушка, угости-ка чайком.

Я и фельдфебель сели к небольшому, с грязной скатертью, столу. Дуня поставила перед нами два стакана крепкого, неприятно пахнувшего чаю и бесшумно удалилась в кухню.

— Неважная у нас квартира, неправда-ли? Хотя у других фельдфебелей и того хуже... Главное—сырость. Моя баба крепчайшего была здоровья, а теперь еле ноги держит... И я хвораю.. Полечиться бы, да откуда деньги возьмутся? Жалованье прямо подлое, последний чернорабочий получает больше... Откровенно вам скажу, что вполне сочувствую... вполне... понимаете? Не мешало бы их всех проучить. В 1905 году пробовали да жаль... ничего не вышло.

Фельдфебель глубоко вздохнул, остановил на мне свои маленькие колючие глаза. Было ясно, что он желает втянуть меня в так называемый политический разговор. Я молчал. С очевидной неохотой он заговорил о другом.

— Андрюша-то сейчас в училище.—Я догадался, что речь идет о сыне. — Знаешь, Дуня, наш вольноопределяющийся будет

с Андрюшей заниматься.— В кухне царило полное молчание.—А может быть, уже завтра приступить к занятиям? Как полагаете?

— Можно и завтра.

— Вот и хорошо.—Фельдфебель со сладкой улыбкой добавил.—А я на ротного насяду... Конечно, справедливо, чтоб вы ночевали дома... Уж будьте покойны, похлопочу.

III.

Часов около трех пополудни вернулась рота. Я был в канцелярии, когда дежурный, успев великодушно простить меня за отказ играть в шашки, позвал:

— Господин вольноопределяющий, наши идут!..

Я поспешил к окну. Люди двигались так, будто лишены были сознания и воли. Солдаты подошли к крыльцу. Вот открылась дверь — я стал к окну спиной — в казарму потянулись странно-однообразные, несмотря на физическое несходство, люди. На меня поглядывали, но с вялым любопытством: слишком, видно, устали.

Поставили ружья в пирамиды, сняли фуражки, шинели. В казарме стало темнее, воздух тяжелел.

— Скоро будет обед,—обратился ко мне дежурный. — Один день, как нам очередь, обедаем утром, другой день обед только

к вечеру... когда воротимся... Такой нынче порядок... Сутки в городе... даже больше... часов 28... караулы да наряды разные... потом ночь, отдых в казарме.... и с полудня опять в город... Молишь бога, чтобы дневальство или дежурство тебе вышло... И ученье забросили... Где тут для занятьев тебе время останется?

Через несколько минут вся рота знала мою фамилию. Один из солдат подмигнул мне и дурачливо сказал:

— А я вас встречал... не то в Пскове, не то в Тамбове... В Пскове был мой брат, в Тамбове был сват, а я только буду... Солдаты смеялись...

— Цыбулькин на кумедии первый мастер, — обратился ко мне дежурный, — а уж как поет!

Цыбулькина эти слова пришпорили. Он с места в карьер запел:

„Мой барин каждый день
Меняет иностранок,
А я, дурак, служи,
Работай на поганок...“

— Замолчал бы, — разозлился один из унтеров, — пока штукатурка [1]) на фасаде [2]) цела.

---

[1]) Кожа.
[2]) Лицо, морда.

— А я не виноват, что куму хочется жрать,—бросил Цыбулькин по адресу унтера.—Грешно, сват, сироту обижать.

Солдаты откликнулись смехом. Смягчился и унтер.

— Вот шельма, —улыбнулся он,—правда же, что хочу жрать... Да и время. Где они, черти, с обедом-то?

— Черти с обедом,—не унимался Цыбулькин,—а дурни без... жена с соседом, а дурень в лес... Иваша, принести тебе кашу?


Цыбулькин.

На этот раз Цыбулькин успеха не имел— трудно было, видно, долго занимать голодных солдат. Угрюмые, злые, усталые, одни из них побрели к окнам, другие уселись каждый на своей койке.

Вошел дежурный— я не заметил, когда он отлучился из казармы.

— Обед еще не готов... Господин фельдфебель приказали пока что чистить винтовки...

Только у Цыбулькина хватило смелости выругаться, упомянув неизбежную мать. По-

корно и молча люди приступили к разборке и чистке винтовок.

Я побрел в канцелярию.

— Видите,—вздохнул Столяров,—со вчерашнего утра рота не имела горячей пищи... теперь жди.., скоро четыре часа... и вот... Не думайте, что так только сегодня...—Он с опаской посмотрел на дверь—Поживите.. сами увидите—какая здесь благодать.

Когда принесли обед, солдаты еще возились с винтовками. Последние были приведены в полный порядок, прежде чем солдатам дали возможность с грехом пополам утолить голод.

В двух баках мутная жидкость с мелко нарезанными черными кусочками мяса.

— Господин вольноопределяющий, обед подан,—со смехом встретил меня Цыбулькин, едва я вышел из канцлеярии.

— Не побрезгуйте, барин.

— Они уже пообедали,—пояснил дежурный—их отпустили домой. От казны вольноопределяющему не полагается.

Людям, однако, было не до меня: угрюмо и молча они утоляли свой голод.

— Пожалуйте, барин,—не унимался Цыбулькин—суп перловый... дурацкому брюху не дождаться другого.—Он объяснил почему суп перловый: крупинки в нем редки, как перлы.

— Жрать так не глядеть, — попробовал начальнически приказать дежурный.

— Дозвольте за топором сходить,—плаксиво попросил Цыбулькин,—будем хлеб рубить... Эй, Иваша, снимай пинджак, полезай в бак... на дне райская птица да еще свинины четыре крупицы...

— Встать! Смирно! — неожиданно ворвалось в казарму.

На несколько секунд поднялась суматоха— и сразу ни шороха, ни звука. Дежурный, в двух шагах от появившегося в дверях ротного командира, отрапортовал, что в роте все благополучно.

— Здорово, молодцы,

— Здравжелавброд...

Сопровождавший ротного фельдфебель обратил его внимание на меня. Капитан поздоровался. В силу многолетней привычки я машинально ответил:

— Здравствуйте.

Ротный едва уловимо улыбнулся, но лицо фельдфебеля свидетельствовало, что я совершил нечто ужасное, недопустимое.

— Вольноопределяющийся сегодня первый день,—с заметным волнением сказал фельдфебель,—и еще путает.

— Путает? — рассеянно посмотрел на него капитан. — Ах, да, путает. Во всей фигуре

ротного командира была странная неустойчивость.

— Кажется, алкоголик, — подумал я, всматриваясь в неряшливого человека с крупной бритой головой, черновато-желтым бритым лицом, блуждающими глазами и дрожащими руками. Он был весь налит какой-то щемящей безнадежностью. Минуты две он стоял молча, совершенно забыв, должно быть, об окружающем

— Вольно, — спохватился он, вспомнив, наконец, о продолжавших стоять на вытяжку солдатах. Отбросив казенный язык, он тихо добавил: кончайте обед. Глебов, — со слов Столярова я уже знал фамилию ротного командира, — поплелся в канцелярию, опустился на табурет. Фельдфебель остался в дверях.

— Позвать вольноопределяющегося, — услышал я, к своему удивлению, приказание Глебова.

— Вольноопределяющийся! — громко позвал фельдфебель, хотя я был близко, шагах в двух. Я поспешил в канцелярию.

— Охота так безбожно кричать, — бросил капитан Василькову.

— Виноват, ваше высокоблагородие.

Глебов зевнул и усталым монотонным голосом обратился ко мне.

— До конца недели буду прощать, а потом серьезно за собой следите... Не от меня,

так от других вам влетит за все эти „здравствуйте“... Дрессируйте язык... Вот слушайте... Здорово, молодец.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие ,—не без усилия ответил я.

— Вас отпустили обедать?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— У образованных идет быстро — с довольным лицом заметил фельдфебель.

— Однако, это скучно,—неожиданно бросил Глебов, ни к кому не обращаясь, зевнул и попросил меня выйти, объяснив, что должен поговорить с фельдфебелем. Я удалился. Когда ротный командир ушел, Васильков с подчеркнутым сочувствием заявил мне:

— Просил за вас насчет ночлега. Приказал ночевать в казарме. Сказал: на службе быть—не мамку сосать... Новиков!..

Подбежал чернобородый солдат. Его синеватые, грустные глаза еще раньше привлекли мое внимание.

— Пойдешь сейчас с вольноопределяющимся. Принесешь сюда постель. Понял?

— Так точно, господин фельдфебель.

— А бороду когда снимешь? Мужичье сиволапое... а с капризами.

— Солдату, кажется, разрешается.

— Мало что разрешается,—задело Василькова моя непрошенная защита.—Он всю роту

мне портит. Смотреть тошно... Пшел вон.
Новиков вздрогнул и отошел.

Во мне вспыхнула острая враждебность к Василькову. Еще утром, при первой же встрече, я почувствовал к нему неприязнь. Стараясь сохранить наружное спокойствие, я сказал:

— Мои вещи привезет извозчик. Новиков такой же солдат, как я... неприятно, чтобы...

— Как новичку, прощаю,—со злыми глазами и деланной улыбкой перебил фельдфебель, но не забывайте, что вы на военной службе... В распоряжения начальства вмешиваться нельзя...

* * *

Мои попытки завязать с Новиковым разговор ни к чему не приводили. Всю дорогу ко мне домой и обратно он глубоко молчал. Только тогда, когда мы подъезжали к казарменному двору, Новиков нарушил молчание: попросил не говорить фельдфебелю, что вещи перевез извозчик.

— Озлобится. С ним много горя.

— Он, видно, плохо относится к солдатам...

По лицу Новикова пробежала острая дрожь. Он ничего не ответил.

* * *

Через пару часов я наглядно убедился, что с Васильковым действительно много горя. С присущей рабовладельческой военщине уверенностью, что глумление над подчиненными ненаказуемо, фельдфебель ворвался в казарму, исступленно налетел на Новикова:

— Как, ты все еще с бородой, паршивье?! Роту мне портить, мать твою так?! У,... мужицкая, садись! Лопаткин, тащи свою бритву! Живо!



Фельдфебель.

Минуты две-три спустя унтер Лопаткин неуклюже водил бритвой по лицу Новикова. Фельдфебель неистово рычал:

— Сдирай! Не канителься! Чтобы ни одного волоска!

IV.

Солдаты выстроились двумя шеренгами. В ожидании фельдфебеля, взводные ворчливо поправляли стойку.

— Щукин, чего носок выставил? Назад! Да не правый, морда ослиная, убери левый!

— Андрейчук, подай корпус... еще. Каждый раз возись с этим рылом...

Явился фельдфебель, держа в руке лист бумаги.

— Здорово, братцы.

Нечто похожее на лай раздалось в ответ. По указанию фельдфебеля, я занял место в первом отделении второго взвода. Васильков набросился на Новикова:

— Убери брюхо! На беременную бабу похож!.. Подберешь ты живот, паршивье?!

После переклички фельдфебель, делая карандашом на листе бумаги пометки, распределял вслух завтрашние караулы, наряды, дежурство, дневальство. Покончив с назначениями, он зашагал вдоль шеренги, поочередно придираясь то к тому, то к другому.

— Как башку-то держишь? Выше! Да вытянись, морда...! А у тебя что за погон? На измятую... похож... Под ружье захотел? Я как отец с ними, вечные хлопоты да за-

боты, а они роту портят... Ты мне гляделками не ворочай,—налетел он на Новикова.— Смотри в затылок, мать твою так! Плечи разверни, мочалка мужицкая!— Фельдфебель направился к двери, приказав на ходу: — Молись!

Он вышел, бросив дверь открытой. Молились нестройно, устало, безжалостно коверкая слова. Кончили и продолжали стоять „смирно“, пока „господин фельдфебель“, как выразился один из взводных, „напьются чаю и сюды придут“. Стояли минут пятнадцать с темными от усталости и бессловесного озлобления лицами.

— Завтра уборка,—шумно ввалился, наконец, фельдфебель. — Встать чуть свет! И убрать не как-нибудь, а чтобы каждая половица блестела. Моя рота должна быть на первом месте. Всему полку пример и образец... Расходись!

Солдаты поспешили в „ночлежку“. Фельдфебель подошел ко мне и с неприятной мягкостью сказал:

— С ними без строгостей нельзя. Народ ужасный, дикари, прохвосты. Если не вор, так остолоп. Человек образованный — статья другая. Вам у меня будет хорошо. Только солдат, пожалуйста, не портить. Охота вам была, заступаться за эту скотину Новикова... Да еще в его присутствии...

Ну, ладно, этот раз прощаю, но крепко помните, что вы на военной службе... Он сладко улыбнулся. — Вот что скажите: нельзя ли, чтобы мой Андрюша к будущему году перешел в гимназию? С ним придется, конечно, основательно позаняться... Что ему даст городское училище?.. Без хорошего образования в наше время далеко не уедешь. Из училища, понятно, не возьму, покуда не поступит в гимназию.—Васильков взял мою руку.—А вы как полагаете?

— Посмотрим.

— Ну, обдумайте все... Спокойной ночи...

Когда я переступил порог канцелярии, Столяров уже был в постели.

— Ушел?

— Да,— догадался я, что речь идет о фельдфебеле.—Он не совсем трезв.

— Ужасно много пьет. И большие деньги пропивает.

— Откуда же большие деньги?

— Способный хозяин, — беззвучно рассмеялся Столяров. —У нас все начальство очень способное... от полкового командира до каптенармуса...

— Крадут?

— Ну, зачем так резко? „Экономят“.

— Уж слишком усердно, если судить по сегодняшнему обеду.

— Мы получаем такую пищу, что сегодняшний обед можно считать сытным и вкусным... — Столяров приподнялся. — Нашему фельдфебелю особенно повезло — ему даже с ротным не приходится делиться...

— Вы говорите о Глебове?

— Да. Глебов хозяйством—Столяров подчеркнул красноречивой улыбкой слово „хозяйством“ — не интересуется. Он бывает в роте редко. Тоже пьет, но не участвует в „экономии“...

— А живет фельдфебель очень бедно...

— Ужасно бедно... Все пропивает... И как он мучит семью. Жену и мальчика страшно бьет... И кого еще мне жаль... так жаль... Несчастный Новиков... Ему нет житья и от фельдфебеля, и от солдат.

— А солдаты за что же его обижают?

— Рабы всегда помогают бьющему...

— Помогают лишь до поры до времени,— заметил я.

Столяров вздохнул.

— Давайте лучше спать.

Он лег на бок, лицом ко мне.

— Спокойной ночи.

* * *

Смрад казармы беспрепятственно вливался в отгороженную низкой перегородкой канцелярию; клопы, блохи и прочая нечисть, будто

участники своеобразного состязания, терзали беззащитное тело.

Не помню когда—верно, далеко за полночь—угарное забытье обволокло мое сознание, но очень рано — только начинало светать— меня разбудила шумная возня в казарме. Столяров был уже одет.

— Идет уборка,—объяснил он мне, едва я открыл глаза.

— Уборка? — Я с усилием вспомнил вчерашнее приказание фельдфебеля.

Я молча оделся, приоткрыл дверь канцелярии и остановился на пороге. Необутые солдаты, подгоняемые дежурным, чистили казарму. Одни мыли стекла, другие натирали изо всех сил посыпанный песком пол,— от них требовали, чтобы ветхие доски побелели. Лица этих людей свидетельствовали, что велика их усталость, что им трудно стоять на ногах, держать глаза открытыми. Мне казалось, что они вот-вот свалятся— со швабрами в руках — крепко и надолго заснут. Даже Цыбулькин был не весел, он едко бросил:

— Господин вольноопределяющий, пардон, что разбили ваш сон... Нашего брата ругать негоже... виновата Кожа [1])...

— Новиков, чего нос повесил? Шевелись...

---

[1]) Фельдфебель.

— Швабра не годится... вся расползлась...

— А ты снятой бородой... чем плохая швабра?..

Эту сомнительную остроту дежурного некоторые из солдат одобрили заискивающим смехом.

V.

Дни шли однообразно, подобно тяжелой неизлечимой болезни. В том, что люди делали, как жили, какие вели разговоры, была злая и нудная бессмыслица.

Я знал о неприкрытом воровстве полкового начальства. Я видел, как солдат обрекают на голод, заставляют питаться отбросами да помоями, чтобы наворованных денег осталось возможно больше, и к физическим пыткам присоединяется такое поношение, такие издевательства, что презреннейший щенок взбесился бы, люди же только тупели, а если и злобствовали, то безглагольно, не доверяя друг другу, боясь товарища-соседа...

Мне служилось легче других — я столовался дома, кроме того, фельдфебеля несколько связывало, что я безвозмездно подготовлял его Андрюшу в гимназию. Верховодил и хозяйничал в роте, главным образом, он.

Капитан Глебов, посетив роту в первый день моей службы, заглянул потом в свою часть лишь недели через две. Пришел, на-

правился в канцелярию, опустился на табурет, снял дрожащей рукой фуражку, поговорил с фельдфебелем и ушел. Впрочем, он больше, верно, молчал,—из канцелярии доносился, главным образом, голос фельдфебеля. Больное лицо Глебова и на этот раз поразило меня щемящей безнадежностью, странные глаза как бы говорили всему окружающему: однако, это скучно...


Батальонный командир.

Батальонный командир, подполковник Карпов, лысый низкорослый толстяк с жесткими рыжими усами, обычно посещал нас по вторникам. Приветствовал он роту неизменным: „Здорово, орлы!“, чтобы вслед за этим облепить „орлов“ невообразимой площадной руганью. Бранные слова, дикие, грязные, он сочетал самым фантастическим образом и все это проделывал с каким-то смакованием, со своеобразным, если можно так выразиться, вдохновением. В казарму еще забегал изредка так называемый полуротный — фатоватый

мальчик с погонами подпоручика, старавшийся „распекать“ солдат в стиле старых свирепых служак.

Ни врача, ни даже фельдшера я ни разу в роте не видел. Койки двух сифилитиков и больного трахомой каптенармуса стояли в общей „ночлежке“, рядом с другими...

Цыбулькин при всяком удобном и неудобном случае величал меня — „Господин вольноопределяющий“, ядовитой усмешкой протестуя против моего привилегированного положения. Был я не свой и для остальных солдат: какой-то белоручка со шнурками вольноопределяющегося — его ежедневно на несколько часов отпускают домой, ему подает руку ненавистное начальство, он подолгу просиживает у „Кожи“ на квартире, занимается с его сыном... Солдаты и не подозревали, какая между мной и ненавистной им „Кожей“, т.-е. фельдфебелем, вражда. Эта вражда все обострялась, особенно после следующего случая.

Был вторник—дождливый осенний день. Я занимался с Андрюшей. Отца его не было дома еще с утра. Он ушел куда-то с каптенармусом. Цыбулькин многозначительно отчеканил:

— Ушли карманники продавать наши подштанники...

Кроме меня и моего ученика в комнате

никого не было. Мать Андрюши находилась в кухне и, по обыкновению, молчала. Со дня моего поступления на службу я не слышал от этой женщины ни одного слова, щемящий испуг прибитой собаки был в ее глазах. Когда урок уже подходил к концу, Андрюша, с присущей детям страстью делиться новостями, обратился ко мне:

— Вы читали листки?

— Какие листки?

— А папа вчера принес... Вот они... на комоде... Показать?

Не дожидаясь ответа, мальчик взял с комода листок и протянул мне. Это была прокламация черной сотни, вся насыщенная бесчеловечными кровожадными призывами...

Вечером, когда „Кожа“ заглянул в казарму, я с усмешкой к нему обратился:

— Господин фельдфебель, что ж не раздаете солдатам прокламаций?

— Какие прокламации?

— Союза русского народа.

— Жена показывала или Андрюша?— переменился он в лице.

— Ни жена, ни Андрюша,—заявил я, желая оградить несчастных от побоев.—Листки лежали на комоде... я и заметил...

Фельдфебель несколько овладел собой и деланно рассмеялся:

— Вы думаете, что я эти листки стану

раздавать? Взять должен был — в полковой канцелярии всех фельдфебелей наделили, только моя рота их не увидит. Начальство спросит—скажу, что роздал... Я союза большой противник...

Я Василькову не верил никогда—не поверил и теперь.

Действительно, на другой день, когда я вернулся после обеда в роту, я узнал, что фельдфебель наделил своих солдат черносотенными листками.

Я отправился к Василькову на квартиру и предупредил, что с сегодняшнего дня буду заниматься с Андрюшей в ротной канцелярии.

— Наверно сердитесь, что в роту попали эти дурацкие листки, — сладко улыбнулся фельдфебель.—Я не виноват... это полуротный роздал...

— Полуротного сегодя не было,—резко оборвал я и удалился.

VI.

С появлением новобранцев или, как их называли, молодых солдат, казарменное житье-бытье стало еще гаже, казарменная атмосфера—еще омерзительнее. Так называемые дядьки, т.-е. унтера и ефрейторы, превращали обучение молодых словесности и маршировке в какой-то дикий анекдот, насыщенный

матерщиной, глумлением, зуботычинами.

Стоит деревенский парень и растерянно слушает диковинный вопрос:

— Племяш, сколько полосок на погоне штаб-офицера?

Унтер Лопаткин задает этот вопрос таким тоном и с таким выражением лица, будто поставил себе целью во что бы то ни стало добиться неправильного ответа.

— Две полоски, господин учитель,—случайно угадывает спрошенный.

— Две?—ехидно усмехается Лопаткин.

Ученик теряется.

— Должно, одна, господин учитель.

Этого „дядька" только и хотел.

— Мужичье! Морда!.. — орет Лопаткин, стараясь копировать фельдфебеля. — Долго мне с тобой тут няньчиться, мать твою так? Что гляделками ворочаешь! Рыло!..—Дядька, под видом поправки стойки, дает ученику несколько пинков.—Как ноги держишь? Так бабу...!

Однажды в роту заглянул Глебов. С выстроенными в шеренгу молодыми солдатами занимался в это время ефрейтор Пупиков.

— Встань! Смирно!—испуганно взвизгнул он.

— Это остроумно, — без улыбки заметил капитан, — от стоящих требовать, чтобы встали...

Приняв рапорт, ротный командир поздоровался.

Парни растерялись и ничего не ответили на приветствие начальника. Лицо Пупикова исказилось от ужаса и бешенства.

— Дай, братец, стул,—приказал ему Глебов. Пупиков подал табурет. Ротный медленно сел.—Поправь стойку.

— Равняйсь!—в пылу страха и усердия отчаянно вскрикнул Пупиков.

— Что с тобой?—недоуменно посмотрел на него капитан. — С ума спятил? Орет, точно бык на бойне.—Глебов снял фуражку и устало бросил:

— Пшел вон!—Белый от страха дядька отошел в сторону.

— Как фамилия? — обратился Глебов к крайнему справа.

— Митька Зубастый,—прыгающим голосом ответил парень.—Так что прозвищу такую дали.

— Прозвище — Зубастый... Хорошо, ну, а фамилия? Есть у тебя фамилия?

— Никак нет.

— Как нет?—вяло улыбнулся Глебов.

— Так что Канарейкин.

— Что же это ты, братец, обращаешься ко мне без упоминания титула? Знаешь— что такое титул?

— Так что как ахвицерские погоны... начальник и командер...

— Пупиков, это ты с ними занимался?

— Так точно, ваше высокоблагородие.

— Молодец. Учитель прекрасный.

— Рад стараться, ваше высокоблагородие.

— Ты вот объясни им, что такое чинопочитание... Я посижу и послушаю...

Пупиков, вперив взор в одну точку, каким-то карабкающимся голосом начал:

— Так что как идет начальник, или встань и не садись, и как здоровкается к тебе, отвечай и смотри в глаза и держи под козырек...

— Продолжай, продолжай, — беззвучно смеялся Глебов.

— И как требует застегнись и сними фуражку...

— Объясняешь толково и понятно. Молодец, Пупиков!

— Рад стараться, ваше высокоблагородие! —отчеканил успокоившийся ефрейтор. Его просиявшая физиономия свидетельствовала, что иронические слова ротного командира он искренно счел за похвалу. Меня, признаться, радовало, что дядька, не уловив насмешки, принял „молодец Пупиков“ за чистую монету: ведь все свое озлобление он выместил бы на своих бедных учениках... Я радовался, однако, напрасно. Только лишь ротный командир, по обыкновению, внезапно,

ушел, ефрейтор, вспомнив позорное „пшел вон“, свирепо набросился на новобранцев. Он на протяжении получаса шельмовал учеников, швыряя в них ругательство за ругательством, одно другого омерзительнее и глупее.

VII.

Худенького Андрюшу, глазами походившего на свою забитую мать, я очень полюбил. Это легко было заметить — заметил и отец Андрюши. У Василькова была, видно, твердая уверенность, что мальчик не пострадает, что с любимым учеником я занятий не брошу. Этой уверенностью я объясняю ту прямоту, с которой фельдфебель, убрав сладкие улыбки, объявил мне войну. Началось с того, что в качестве дядьки он приставил ко мне ефрейтора Пупикова, ежедневно изводившего меня обучением „словесности“, давным-давно мною усвоенной. К словесности скоро присоединилась бессмысленная ежедневная маршировка.

Меня соединили с молодыми солдатами, долгими часами держали в шеренге, заставляли слушать вопросы и ответы, способные затмить любой анекдот.

— Кривобоков, что видишь в дуле?— спрашивает дядька новобранца.

— Так что оскорбление, — отвечает тот, смешав дуло с дулей, т.-е. с комбинацией из трех пальцев.

— С такой башкой... затыкать,—повторяет дядька одно из любимых выражений батальонного командира Карпова.—В дуле видишь канал и по ем нарезано для меткости и необходимо для пули.

Кривобоков, смешавший дуло с дулей, производил впечатление парня толкового, но таково уж, видно, влияние дядек и казарменной обстановки, что, по выражению Цыбулькина, в брюхе у солдат голодовка, а в башке забастовка...

Частенько влетало от Пупикова и мне.

— Вот для примеру, господин вольноопределяющий, к чему ударник?

— Для воспламенения капсюля,—даю я правильный ответ.

— А еще образованные, — убийственно смеется дядька и, торжествуя, поправляет:— ударник к тому, чтобы пошел пламя и дым.

Солдаты с злорадством встретили „уравнение в правах“: им нравилось, что „господин вольноопределяющий“ на одной доске с молодыми, что шнурок вдоль погона не избавил от дядек. Цыбулькин посвятил мне следующие жестокие вирши:

„Думали как господин вольноопределяющий—

Значит барин знающий,
А барин, как племяш, нескладен,
И дядька ему даден...“

Но вот однажды произошло событие, резко изменившее отношение ко мне солдат. Роту выстроили на вечернюю молитву. Фельдфебель ввалился в расстегнутом мундире, лютый и пьяный, как никогда.

— Здорово, подлецы! — выпалил он ни одним уставом не предусмотренное „приветствие“.

Рота ответила, конечно, по уставу:

— Здравия желаем, господин фельдфебель!

Васильков не сводил с меня налитых кровью глаз и несомненно видел, что я на его „приветствие“ не ответил.

— Все ли пожелали мне здоровья? А? Тут у меня враги! Знаю! Камень за пазухой! Против веры, царя и отечества! Помните, что в листках говорится? Смерть врагам веры христовой! Эй, ты рожа магометская, выходи!

Один из рядовых, с побелевшим до жути лицом, вышел из строя.

— Крышка! Не потерплю твоей паскудной веры! Моему богу молись! На колени перед иконой!

Рядовой мусульманин не двигался с места,

странная устойчивость была во всей его фигуре.

Васильков заревел.

— Новиков, поставь его... на колени!..—

Новиков весь затрясся, сделал шаг и остановился.



Фельдфебель и рядовой мусульманин.

— Что? Неподчинение?! Бунт?!

Фельдфебель сжатым кулаком ударил Новикова в лицо. Изо рта и носа хлынула кровь. Что произошло дальше — не помню. Уцелело только короткое „куда?“ озверевшего Василькова и мой ответ:

— Иду к ротному командиру.

VIII.

Я сидел в маленькой низкой комнатке. Неубранная кровать, стол без скатерти, три венских стула, полураскрытый шкаф. На стуле, у постели, стояла бутылка с вином наполовину, другая, еще закупоренная, темнела невдалеке на полу. С десяток пустых бутылок валялось в углу, между шкафом и окном.

Грязь, беспорядок, испорченный воздух.

Я застал Глебова без мундира и жилета, в не первой свежести сорочке. Он встретил меня без намека на удивление, выслушал без малейшего интереса. Мне было бы легче снести грубый прием, суровое наказание за то, что я, рядовой, осмелился, минуя промежуточное начальство, явиться без спроса к ротному командиру,—было бы легче снести что угодно, но не это ужасное безразличие, откликнувшееся на мой рассказ двумя словами:

— Эка невидаль..

Тем глубже меня поразило, когда Глебов, заметив, что собираюсь уходить, не отпустил меня.

— Посидите. Ведь годами не вижу живого лица... Труха!.. Это я зову своего денщика Петрухина...—Явился грязный заспанный парень.—Труха, сбегай в девятую роту к фельдфебелю, чтобы немедленно явился.

— Слушаю, ваше...

Деньщик удалился.

Глебов, сидевший до сих пор на стуле, пересел на кровать, потянул из бутылки вино. Задребезжало, стуча о зубы, зеленое стекло. Опорожнив бутылку, он выпустил ее из рук — она покатилась по грязному полу.

— Видите, какая вещь... — Глебов устало улыбнулся. — Вас, понятно, возмущает мое равнодушие к сегодняшней истории. Что-ж, возмущайтесь. Мне все равно... Вам не удастся меня расшевелить. Да и благодарите бога, что не волнуюсь... потому что волнение алкоголика...это белая горячка, безумие... вот как у подполковника Савича... — Глебов взял закупоренную бутылку, открыл ее. — Дайте стакан. — Дрожащей рукой наполнил стакан вином, опорожнил и бросил на кровать. — Только то и делаю, что пью. Аппетита никакого. Целые дни могу оставаться без пищи. Положительно выгодно быть алкоголиком. — Он беззвучно рассмеялся. Помолчав, продолжал: — Я послал за фельдфебелем, чтобы уберечь вас от его мести... а не потому, что возмущен... Негодование и прочие там чувства я пустил ко дну алкогольного моря... Волноваться? Покорнейше благодарю. — Он скривил рот. — Видите, какая вещь? У подполковника Савича все шло хорошо, пока его чувства и мысли покоились на дне... он тоже без устали

пил... Но вот однажды он вздумал волноваться... бросился к зеркалу... всматривается... и вдруг ногтями с лица кожу... сдирает... кричит: „Где Валерьян Савич? Это не его лицо, у него было белое человеческое лицо, с благородными человеческими глазами... где Валя?..—Глебов лихорадочно потянул из бутылки. — После этой дурацкой истории я приказал Трухе зеркало продать... Видите, какая вещь?..

Он растянулся на спине, заняв всю кровать своим больным набухшим телом. Тихо и жутко прозвучало:

— Однако, это скучно...

Глебов умолк. По его лицу было видно, что он забыл о моем существовании. Он не встал и тогда, когда пришел фельдфебель.

Васильков остановился у порога. В его глазах был животный страх и такая ненависть ко мне, что я невольно отвернулся.

Глебов устало, с очевидным усилием, заявил:

— У меня с тобой будет короткий разговор. По просьбе вольноопределяющегося, на этот раз прощаю, но если сегодняшнее повторится... пеняй на себя... Понял?

— Так точно, ваше высокоблагородие...

— Еще вот что... вздумаешь мстить за то, что на тебя пожаловались, будешь иметь дело со мной. Ступай.

Когда я вернулся в казарму, солдаты, несмотря на поздний час, еще не спали. Цыбулькин смеялся:

— Лопнет сегодня Кожа... и мое брюхо от радости тоже...

Рядовой - мусульманин приблизился ко мне, хотел было взять мою руку, что-то сказать,—не смог, смолчал, с мужской неловкостью за блеснувшие слезы, отвернулся.

* * *

Я обрадовался, когда все, наконец, утихло. Только дневальный время от времени вздыхал, завидуя, должно быть, спавшим. Я уснуть не мог. Обычно страдая жестокой бессоницей, связанной, по объяснению врачей, с давнишней болезнью сердца, я и теперь лежал с открытыми глазами.

Вдруг, с резкой внезапностью, шумно распахнулась дверь из прихожей в казарму. Голос Василькова дико ворвался в тишину.

— Дневальный, ты здесь?

— Так точно, господин фельдфебель.

— Буди! Нечего храпеть!

Слышно было как солдаты просыпались. Проснулся и Столяров, бледный и трясущийся. По голосу фельдфебеля легко было догадаться, что он пьян. Назревал скандал. Я поспешил одеться и вышел из канцеля-

рии. Дневальный, ни жив, ни мертв, стоял у дверей. Дежурный вытянулся в полушаге от шкафа.

Фельдфебель метнулся в ночлежку и, бегая от одной койки к другой, ударами чьих-то онуч по лицам, поднимал людей.



— Открывай сундуки! Обыскать обязан... В шестой роте однажды уже нашли прокламации...

Солдаты вскочили, испуганно и растерянно одевались.

Вышвырнув из нескольких сундуков вещи, фельдфебель приказал:

— Показать винтовки! Посмотрю в чистоте ли... Разбирай, мать вашу так...

Солдаты сбились у пирамид, взяли каждый свою винтовку.

Когда я взглянул на эту массу людей— вооруженных и покорных—я содрогнулся: остро, как никогда, я почувствовал всю жуть, весь позор, все омерзение рабства. Бушевавший фельдфебель неожиданно распорядился:

— Тащи койку вольноопределяющегося в ночлежку! Должен спать, где все... отдельные комнаты... поблажки там всякие... Нижний чин... и больше ничего...

IX.

Стало известно, что через несколько дней приезжает начальник дивизии. Начались приготовления, превратившиеся для солдат в сплошную пытку. Как только люди, измотанные бессоной ночью и полуголодом, возвращались с нарядов и караулов, прибегал фельдфебель, давал буквально несколько минут на обед, а потом, чуть ли не до утра, шла уборка казармы, чистка мундиров, шаровар, шинелей, сапог, фуражек, винтовок. И это ежедневно, так как день приезда генерала точно не был известен. От починки и чистки одежды солдат могли бы избавить, ибо полковой командир распорядился выдать в день смотра из цейхгауза новую обмундировку: он отлично знал, что в обычное время солдаты носят грязную ветошь, и ни почин-

кой, ни чисткой делу не помочь. Ко всему этому присоединили учебные занятия: солдаты, отвлеченные караулами да нарядами полицейского характера, многое позабыли — так называемую, словесность, гимнастику и т. д. И учебные занятия, и уборку, и чистку двигали вперед двумя испытанными приемами: матерщиной и кулаком. День и ночь висела густая, дикая, отвратительная ругань. Ругались батальонный и полуротный, фельдфебель, взводные, отделенные.

Разок заглянул в роту и Глебов, обошел ночлежку, с вялой усмешкой посматривая на новые наволоки, простыни, полотенца.

— Носовые платки выданы? — с той же усмешкой спросил он фельдфебеля.

— Так точно, ваше высокоблагородие... Еще дали мыло, сахар, чай...

Усмешку Глебова легко было понять: ведь в обычное время все эти вещи выдавались солдатам редко и скупо. Способное начальство, по выражению ротного писаря, экономило, т.-е., яснее говоря, воровало.

На другой день стало известно, что Глебов заболел, — возможно, что прикинулся больным, чтобы не участвовать в шумных и диких приготовлениях к встрече дивизионного генерала. На смотр Глебов, как и другие офицеры, явился в парадном мундире и широких шароварах.

На казарменном дворе выстроились восемь рот. Другая половина полка находилась в городе, где охраняла царские учреждения.

Солдат долго и злобно выравнивали по желонерам, последних легко было узнать по флажкам на ружьях. Проверяли достаточно ли туго затянуты пояса, помещается ли в створе развернутых носков ружейный приклад, одинаков ли наклон солдатских тел. То и дело слышалось:

— Доверни левое плечо!

— Голову прямо!

— Задние, смотри в затылок!

— Убери живот!

Собирался дождь. Желчное начальство тревожно посматривало на желчное осеннее небо. В ту минуту, когда у ворот показался низкорослый старичок, стали падать крупные дождевые капли. Старичок сделал рукою оркестру знак не играть. Приняв рапорт полкового командира, дивизионный генерал, желтолицый и желтоусый, зашагал вдоль фронта, выкрикивая:

— Здорово, богатыри!

В ответ характерный солдатский лай.

Вдруг генерал остановился. Его бритый подбородок задрожал.

— На людях все новенькое!— Он блеснул глазами.— Понимаю... Обычно ходят, наверно, оборванцами... Отдай товарищу винтовку!—

приказал он солдату седьмой роты.—Теперь снимай шинель... Что глаза выпучил? Расстегивай мундир! Живо-о!

Перепуганный солдат снял шинель и расстегнул мундир, выданный, как и вся верхняя одежда, сегодня утром из цейхгауза.

— Так и есть!—Генерал побагровел.—Новенькая шинель, новенький мундир, а рубашка... грязь, тряпье... вонь! Даже в баню не погнали!—Старик угадал: „способное“ начальство „экономило“ и на бане.—Мерзость! Безобразие!

Гневно сверкая глазами, генерал направился к воротам.

Поднялся ужасный переполох. Спектакль был сорван. Один только Глебов сохранил спокойствие, его усталая усмешка как бы говорила:

— Однако, это скучно.

Через полчаса командир седьмой роты избил солдата, снявшего, по приказанию дивизионного генерала, шинель и мундир. Таким образом, виновник скандала был найден и справедливо наказан. Других последствий генеральский гнев не имел.

X.

Люди только что пообедали, когда в казарму вошел Васильков. Его лицо имело странно-сладкое выражение.

— Здорово, братцы.

— Здравия желаем, господин фельдфебель.

— Поели? Сыты? — обратился он к одному из солдат.

— Так точно, господин фельдфебель.

— Слава богу... Кому же радоваться, если не мне? Я для вас, что отец родной... Только и заботы, чтобы люди были довольны... Тащи-ка мне табурет...— Принесли из канцелярии табурет. Васильков уселся посредине казармы.— Так значит... поели, сыты... хорошо... Вы, братцы, смотрите на меня, как на друга... Если иногда строг — сами понимаете, что без этого нельзя. В прежние времена, когда я рядовым был, начальство куда строже поступало. Людей, как скотину, лупили... побои да издевки.

Васильков потемнел, метнул недобрый взор в мою сторону.

— Конечно, образованные меня зверем считают. Ну да ничего!..— Фельдфебель снова придал своему лицу сладкое выражение, расстегнул мундир, провел рукой по затылку.— Цыбулькин, а что гармошка в порядке?

— Никак нет, господин фельдфебель, хрипит...

— На это наплевать, — незлобиво рассмеялся Васильков.

— Тащи, братец.— Цыбулькин взял гармонику.— Ребята, сюда. Веселиться будем.

Изнуренные люди — они лишь недавно. вернулись из города—обступили фельдфебеля

— Цыбулькин, валяй! А рота пой „После ученья“.

Захрипела гармошка, солдаты с деланной готовностью, коверкая слова, нестройно затянули:

„Ну, ребята, марш домой!
Вольно врассыпную...
Службу кончили — и пой,
Гаркнем удалую!..“

— Погоди!—перебил фельдфебель — Другое... про бабу... „Лодочку“ откалывай!.. Да горячее...

Под хриплые звуки гармоники посыпались невозможные даже для казарменных стен куплеты.

Вдруг Васильков вскочил и обрушился на Новикова.

— А ты чего не поешь? Песня не нравится, с-н ты с-н? Выходи сюда! Ближе... твоей матери! Покажу тебе как веселье портить... Всю „Лодочку“ подай!

— Я такой песни не знаю, господин...

— Пой! Что?! Молчишь?! Под ружье эту б-ь! Еще с тобой возиться мне! Хватит образованных! Хорош пример подают! Рота веселится, а вольноопределяющиеся в сторонке... Никакого участия... брезгуют!..

Новикова поставили под ружье.

— Цыбулькин, нажаривай плясовую! Ребята, валяй! Да не зевать! Чтобы моя рота во всем полку была первая!

Словно клячи под ударами кнута — гримаса веселья только подчеркивала усталость измученных лиц — люди пустились в пляс. А Новиков, большой и беспомощный, будто скорбное олицетворение рабства, стоял с ружьем в крепкой мужицкой руке.

XI.

Моя давнишняя возня с сердцем в казарме обострилась. Пошли припадки. Однажды утром сердечный припадок имел место после бессонной ночи. Когда я пришел в себя, фельдфебель — за ним, видно, сбегали — со злобной усмешкой приказал отправить меня в околоток. Сопровождал ефрейтор Пупиков,— с хворой, как называли ее солдаты, книгой под мышкой.

В околотке помещалась приемная, аптека и небольшая палата для легко-больных: три комнаты, грязные, низкие, полутемные, связанные еще более грязной и темной передней. Палатники то и дело показывались на пороге, поглядывая в помещавшуюся напротив приемную, набитую явившимися из рот рядовыми. Их осматривал полковой врач Дементьев.

— Скинь, штаны!—хрипло орал Дементьев на тщедушного солдатика.

— Он жалуется на бессоницу — робко заметил фельдшер.

— Какая еще там бессоница! Был, с. с., у б-и и заболел... Знаем вас, мерзавцев... Закатить ему касторки...

— А ты кто?—обратился Дементьев к другому рядовому.

— Макашкин,—испуганно ответил солдат.

— Ну, Какашкин... Дальше...

— Так что барабан в перепонке... ухо, значит, беспокоит...

Полковой врач Дементьев.

— Покажи язык!—Больной исполнил приказание.—Послушай Кашкин, угощу я тебя такой кашей, что березовая слаще... Здоров, как слон, и туда же... прет! Барабан в перепонке! Да я, с-о отродье, из твоей з-ы барабан сделаю... Марш в роту!

— Ваше вы..,—начал было Макашкин.

— Пшел!.. Ты опять здесь?—вскипел Дементьев, уже обращаясь к новому лицу.

— Так что ноги... силы моей нету... пухнут и пухнут...

Дементьев порывисто нагнулся и сжал ногу больного ниже колена.

— Боже ты мой!—простонал солдат.— Болит же как!

— Врешь! В лазарет норовишь. Вижу вас, мерзавцев, насквозь...

— А да чорт с тобой! Освобожу на два дня от занятий... Только смотри... больше на глаза мне не показывайся!..

Дементьев заметил меня, подошел, сделал удивленное лицо.

— Что за чорт! Каким образом в полк попали?! Ведь я в свое время вас забраковал.

— Воинское присутствие признало меня годным.

— С таким сердцем?—хрипло рассмеялся Дементьев.—А вид у вас еще хуже, чем в августе...

Выслушал, взял у Пупикова „хворую“ книгу, вписал мое имя, отчество, фамилию, род болезни, в последней рубрике отметил:

— Сегодня отправить в лазарет.

Едва переступив порог казармы, Пупиков выпалил:

— Господину вольноопределяющему сказано лазарет.

Он поспешил с „хворой“ книгой к фельдфебелю. Через несколько минут Васильков

влетел в казарму — у него было перекошенное лицо — крикнул:

— Какого чорта лез в солдаты!—и умчался прочь.

XII.

В полутемной, холодной комнате малограмотный фельдшер напряженно и долго вписывал меня в растрепанную, с пестрыми от пятен страницами, книгу. Мне дали грубое в заплатах белье, увесистые, как булыжник, туфли, широчайший, почти достигающий земли, халат. Я переоделся. Через большой грязный двор, дрожа от холода, я прошел в одноэтажное ветхое здание. Миновав темную прихожую, я переступил порог узкой и длинной, напоминавшей коридор, комнаты, имевшей только три небольших окна. Зловонная казарма показалась мне раем, по сравнению с грязью и смрадом этого помещения. Как я скоро узнал, до сих пор, вот уже без малого год, все ремонтируется главный корпус лазарета и конца не предвидится, ибо затяжной ремонт, как с улыбкой объяснил мне фельдшер, для начальства куда прибыльнее кратковременного. Увы, через несколько дней я убедился, что „экономию“ „способное“ начальство проводит и здесь, в лазарете, что, обкрадывая здоровых солдат, оно не щадит и больных.

А пока лазаретные палаты умышленно медленно ремонтировались, массу людей разместили в двух конурах, связанных общей прихожей, при чем даже не позаботились изолировать инфекционных. Я очутился рядом с тифозным Андреем Бородавкиным, как значилось на черной, овальной дощечке над койкой. Пришел я в лазарет после обеда, пока меня записывали и переодевали, успело уже стемнеть. Я радовался наступлению вечера—хотелось скорее уснуть, не видеть этого ада, битком набитого больными телами, не слышать кашля, харканья, хрипов, стонов, бреда. Моя койка стояла последней в ряду. Я поспешно лег, повернулся лицом к стене. Сна не было. Нервы все больше расходились. В противоположном углу несколько больных—и с ними фельдшер—играли в карты.

— Сколько?

— Четвертак.

— Есть.

— Получай полтину.

— Послушайте,—позвал я фельдшера.

— Ну, что там? – только минуты через три откликнулся тот.

Я попросил что-нибудь против бессонницы.

— А может, обойдется? Видите... занят...

— Минуты на две оторвитесь от „занятий“.

Фельдшер проворчал что-то, вышел и скоро вернулся с порошком.

— Получайте.

Я уснул нескоро, незаметно для себя самого, а когда очнулся, игроки сидели на прежнем месте.

— Сколько?

— Как я бедняк... только пятак...

— Есть.

— Давай ему гривенник.

Тифозный Бородавкин лежал с приоткрытым ртом и бредил.

— Который час?

— Начало третьего,—ответил фельдшер на мой вопрос.

— Далеко еще до утра—услышал я слабый голос и только теперь заметил больного, сидевшего на своей койке, недалеко от игроков. Бескровное до желтизны лицо с жиденькой растительностью, круглые, будто видящие нечто жуткое, глаза.

— Какой роты?

— Девятой,—ответил я.

— А моя двенадцатая... Фамилия—Горшков... Видите, как сердце дурит,—болезненно улыбнувшись, обратил он мое внимание на подымавшуюся резкими скачками грудь.—И без того плохо спится, а тут еще крысы...

— Боитесь?

Горшков, будто оправдываясь, ответил:

— Не то, чтобы страх, а так.. сердце... глупое...

XIII.

Утренний чай разносил Меджид или, как его называли больные, Межидка, уродливый низкорослый парень с какой-то нелепой бесформенной фигурой. После его ухода, Горшков обратился ко мне:

— Слышали про него? Зимою весь город говорил... Это он малыша убил...

Я вздрогнул при напоминании об этом преступлении: солдат, находясь на посту у у порохового погреба, застрелил пятилетнего ребенка кузнеца Огурцова и уже мертвому всадил в живот штык. На суде убийца показал, что он три раза окликал, но так как малыш в ответ только смеялся, то пришлось стрелять. То было время, когда среди виселиц пировала богопомазанная опричнина—и военные судьи убийцу пятилетнего ребенка оправдали. Межидку перевели на нестроевую должность, в лазарет.

— Давно он здесь?—спросил я Горшкова.

— Как оправдали, так и сюда. Я уже тут к тому времени лежал. Веселый такой

пришел... Лазарет не казарма—жизнь легкая, сытая для лазаретных служащих... потому и веселился. Спрашиваю его: „за что ребенка убил?“ А он смеется: „тэпэр можно“...

Горшков умолк, тяжело дыша. После паузы он грустно улыбнулся:

— Сердце такое, что быстро устаю... Поговорю малость и уже сил нету... Даже голова кружится.

Он упал на подушку, до того бледный, что лицо казалось прозрачным.

Со слов фельдшера я уже знал, что Горшков в лазарете восьмой месяц и не выберется, если не догадается, как выразился фельдшер, что и докторам нужны деньги...

Неожиданно открыл глаза мой ближайший сосед, тифозный Бородавкин, даже сделал попытку приподняться, но вяло, равнодушно. Выделялись его губы, черные, будто покрытые сажей, растрескавшиеся. В приоткрытом рту чуть виднелся странно-дрожавший язык. Минуты через две глаза снова сомкнулись. Можно было разобрать отдельные бредовые слова.

Часов около одиннадцати к нам заглянул, как выражались солдаты, „наружный доктор“, стрелой пролетел туда и обратно и, не проронив ни слова, удалился.



Фельдшер.

— Такое его всегда внимание к больным,— послышалось с чьей-то койки.

Фельдшер только теперь удосужился раздать больным термометры, при чем каждого неизменно опрашивал:

— Градусник хотишь? А то я на глаз могу.

— Лучше на глаз,— соглашались многие, но просили „зажарить" на бумажке побольше.

— Это, брат, даром не делается,— откровенно смеялся фельдшер, отмечая на белом листке над койкой температуру.—А тебе поставить?—подошел он к Горшкову и с каким-то безжалостным благодушием ухмыльнулся:

все равно ты не жилец на этом свете... уж ты докторов надуешь... без денег освободишься...

Горшков как-то странно съежился.

— Дайте...

— Я на глаз...

— Дайте, — с тихой мольбой повторил Горшков.

— Ну да чорт с тобой. Зажарю упадок сил... лишь бы не возиться...

Фельдшер отметил 35,9. А на листе тифозного Бородавкина, лежавшего в бреду, он густо вывел 39,1, и лицо его как бы говорило:

— Видите, я человек правильный...

Дошла очередь до меня.

— Дать градусник?

— Дайте.

— Дело ваше, а только температура у нас главное... Обыкновенно и нормально... так марш обратно в полк... Поняли? При вашей болезни нормальная часто... Поняли?

Понять было нетрудно: его жуликоватые глаза были красноречивее слов.

Я поставил термометр. Фельдшер удалился, минут через 10 вернулся.

— Покажите-ка. Ага, чья правда? Живо вас в полк попросят... 36,7...

— 36,1 — поправил я.

— Хотите ссориться?

— Отмечайте правильно... тогда без ссор обойдется...

— Я по справедливости...

— Отметили 36,1?

— А если нет? Пожалуетесь? Вот какой вы... с вами и пошутить нельзя... Вы меня не знаете... я люблю, чтобы правильно... А шутить каждому дозволяется...

Фельдшер благодушно улыбался. Его плутовская физиономия как-бы говорила—попытка не пытка... Сорвалось,—так сердиться не буду. Я—человек мирный.

XIV.

— Котиков идет!—бросил показавшийся в дверях фельдшер.—Занимай каждый свое место.

Он исчез.

— Котиков—внутренний доктор,—объяснил мне Горшков.

Минуты через три фельдшер вернулся, сопровождая врача Котикова, белобрысого, среднего роста, господина с сияющим пухленьким лицом, быстрой, какой-то скользящей походкой. Создавалось впечатление, будто каждая частица его фигуры—отдельное живое существо, юркое, проворное, неунывающее. Странно-влажные глаза.

— Вольноопределяющийся I разряда,—остановился Котиков перед моей койкой,

читая надпись на дощечке.—Тик... Так... Да и болезнь перворазрядная... Неужели порок сердца? Тик... Так... Сейчас проверим полковых профессоров. Частенько путают. Диагносты для погоста. Позвольте ручку,—обратился он ко мне нежно, будто мы старые друзья.—Тик... Так...—Он дурачливо сложил толстые, влажные губы.—95... Ну, пульс ровно ничего не доказывает.... А температура нормальная,—взглянул он на белый лист над моей головой.—Еще сердце послушаем.—Он приложил ухо к груди.—Тик... Так... Диагносты для погоста. Такое чистое ангельское сердце оклеветали... объявили „порочным". Бессовестные в вашем полку врачи...

Котиков хихикнул и взял из рук фельдшера большого формата сложенный вдвое лист. Бросалась в глаза крупная черная надпись:

— История болезни.

Котиков прищурил влажные глаза.

— Тик... Так... Придется нам с тобой, герр фельдшер, писать историю несуществующего порока. Обидели, прохвосты диагносты, симпатичного молодого человека.....На, возьми.—Котиков отдал фельдшеру лист.—В канцелярии будем писать.—Подошел к Горшкову.—Что, милый, как дела?

— Плохо, ваше благородие.

— Это ты, голубчик, врешь. Врешь, дорогой мой, врешь. Служить не хочешь..



Котиков.

— Ваше благородие обещали на комиссию...

— Я-то обещал... и теперь обещаю, а вот ты ничего не обещаешь... хитер ты, батенька!

— Ваше благородие, родных бы повидать перед... У Горшкова оборвался голос.

— Тик... Так...— Котиков рассмеялся. Знаешь, прохвост, что люблю тебя, и бьешь на мои чувства... Что же, я отпустил бы, но как быть с присягой? Ведь я присягу дал. Не могу же здоровых солдат освобождать Поставь себя, милый, на мое место.

— Какое мое здоровье! Вот и господин фелшер говорит, что не жилец я на этом свете...

— Ты что же это, господин фелшер, людей пугаешь? Ты пошутил, а у Горшкова уже течет... На то и горшок...—Котиков повернул пухлое, веселое лицо к больному аппендицитом.—А тебя, красавец, завтра резать будем.

— Спасибо, ваше благородие... А то вот у брата запустили... так гнойник...

— Помер?—перебил веселый доктор.

— Так точно, ваше благородие.

— Глуп ты, Окунев. Все помрем, все, милый. А что, Бородавкин все еще болтает?

— Так точно, ваше влагородие,—ответил фельдшер,—бредит.

— Лекарство принимает?

— Никак нет, ваше б-ие, не хочет...

— Тик... Так... Ничего, герр фелшер, не поделаешь... на нет и суда нет...

— Ваше благородие,—подошел солдатик с забинтованной на привязи рукой.

— Что, дорогой?

— Так что рука сильно беспокоит. Прямо горит.

— А я-то здесь при чем? Ты к Румянцеву, милый. Я не по наружным.

— Говорил—так обругали.

— Привлеки к ответственности за оскорбление личности,—рассмеялся Котиков.—Что, Дыркин,—обратился он к венерику,—сколько на своем веку...? Румянцев смотрел тебя сегодня?

— Никак нет, ваше благородие, не имеют ко мне внимания.

— А ты проси. . не то, милый, сгниет... У тебя, Ермолаев, что хорошего?—Над кой-

кой Ермолаева, на дощечке значилось „воспаление легких“, но больной, очевидно, выздоравливал.—Аппетит есть?

— Большой, ваше благородие.

— Тик .. Так... Очень хорошо.

— Я хотел просить...

— Проси, голубчик, проси. Что возможно, всегда для вас сделаю.

— Кислого бы чего-нибудь... Лимончик бы, ваше благородие.

— Ах, ты, деревенщина моя милая! Где тебе, сиволапому, без лимончика цитрончика? Трудно от своих привычек отказаться... Сочувствую, братец, сочувствую... Герр фелшер, завтра Ермолаеву чай да лимон... и ничего больше...

— Ваше благородие изволят...

— Шутить? - перебил Котиков фельдшера. —Это с каких же пор ты принимаешь мои распоряжения за шутку? Что Ермолаев просил, то и получит.

— Ваше благородие...

—Некогда, милый, некогда. Ты у меня не один...

Котиков выскользнул, фельдшер за ним.

— Что же это, братцы, завтра голодать мне?—растерянно улыбнулся Ермолаев.—Не верю, что бы он это серьезно... шутит.

— Не шутит,—убежденно, вздрагивая от волнения, сказал Горшков.—Котиков страш-

нее Межидки... Да... Ты Ермолаев не унывай —голодать тебе не дадим...

Из другой палаты—двери обеих палат, связанных общей прихожей, были всегда раскрыты—донеслись слова Котикова, говорившего, как только что у нас, ласково и громко:

— Ну, как тебе, голубчик, не стыдно! Все еще живешь да священное писание жуешь? Бессовестный ты человек. Смерти тебе все равно не миновать... только место напрасно занимаешь... Нечестно, дорогой, нечестно...

— Каждый день ему это говорит,—страдальчески сморщился Горшков.

— Кому это?—спросил я.

—Матвееву... чахоточному. Человек помирает... и такие речи... такое...

Горшков не мог договорить. Его рот странно вздрагивал, вдыхая воздух.

— Такого не встречал еще,—потемнел Окунев. — Думаете завтра будет резать? Вранье. Сколько раз обещал... Касторкой все поили... никакой тебе еды... перед операцией нельзя... правило такое...

От приступа боли Окунев замолчал, стиснул зубы.

На другой день Котиков не явился. Румянцев показался было в дверях, но в ту же секунду исчез, не переступив даже порога. Больные не так уж огорчались —

немного давали визиты врачей, будто старавшихся перещеголять друг друга в безучастном отношении к людям, в злостной недобросовестности. Волновался один только Окунев:

— Опять не будет операции... Видите... я говорил.

— Вы обратились бы к старшему врачу,— посоветовал я.

— Где его возьмешь? Его никогда не видать...

— Не бывает в лазарете?

— Каждый день бывает... только в кабинете сидит при аптеке... льет в себя спирт...

— Не согласится ли фельдшер попросить его сюда?

— Чудно вы говорите. Первое дело побоится, затем, какой интерес... вот разве за деньги...

— Сходили бы сами...

— Другое здание... через весь двор надо... Разве пустят отсюда?

Вошел Межидка, разнес обед; похожий на помои суп (чортова болтушка, по выражению солдат)—и каждому по рубленной котлетке.

Окунев, поддавшись, должно быть, потребности выместить на ком-нибудь свое озлобление, позвал:

— Межидка.

— Сказать хотишь?

— Хочу сказать, что ты свинья.

— Какой свина? Сам свина.

— Подлец...

— Пошэму?—Меджидка поставил на пол ведро с супом.

— За что мальчонку убил?

Татарин мгновенно преобразился. Ужас метнулся в его глазах—может быть, встал образ несчастного ребенка,—но через несколько секунд бешенство зверя затопило лицо, судорога потрясла все его тело. Он прыгнул к Окуневу—Ермолаев и я успели схватить его руки. Испугавшийся Горшков громко звал фельдшера. Межидка рычал:

— Началство оправдал. Ротный капытан спасибо сказал. Убю за малшонка.

Бородавкин открыл глаз, тихо чему-то рассмеялся,—у него был, повидимому, сильный жар.

Явился фельдшер.

— Кто звал меня? Что за галдеж?

— Межидка драться лезет.

— Напомнил ему, что с мальчонкой сделал,—вызывающе заметил Окунев.

— Убит буду,—дико рванулся Межидка.— Началство оправдал...

— Что, барин, нервы портишь?—неожиданно раздался смеющийся голос.—Гимна-

стику любишь?—Рослый солдат взял Межидку за шиворот и, словно щенка, вытолкнул в прихожую, захватив второй рукой ведро с супом.

— Молодец Савельев,—бросил вдогонку Окунев и добавил, обращаясь ко мне: первый в полку силач... из второй роты...

— А ты зачем его задеваешь?—незлобиво перебил фельдшер и неожиданно хихикнул. Только теперь я заметил, что он не совсем трезв.—Что, Окунев, резали тебя сегодня? Надейся. Понять не может, что Котиков и Румянцев — ребята с мозгами, а человек умный денежки любит...

— Господин фелшер...

— Что, Окунечек?

— А нельзя его сюда?

— Кого это?

— Старшего доктора...

— Тебе зачем?

— Чтобы распоряжение насчет операции сделал.

— На калоши даешь?—откровенно справился фельдшер.

— Нет у меня таких денег... Ей богу... Восемь гривен могу...

— Ну ладно... Как не уступить Окунечку...

По выражению лица я догадался, что фельдшер и не думает обратиться к старшему врачу. Я высказал свою мысль вслух. К моему удивлению, фельдшер ничуть не обиделся.

— Вы напрасно обо мне так думаете,— улыбнулся он.—Я слово держу... Я потому согласился, что Окунечка люблю и жалею, а то разве стал бы за восемь гривен рисковать? От старшего врача такое влететь может, что башка затрещит...

Увы, Окунев поддался ласковым излияниям, достал из-под подушки кошелек, извлек все монеты—четыре гривенника и восемь пятачков — вручил фельдшеру. Последний ухмыльнулся:

— Вольноопределяющийся увидит, что ошибается насчет моего характера...

Слегка пошатываясь, фельдшер ушел. Я, признаться, чуточку поколебался в своем неверии, понадеявшись, главным образом, на нетрезвое состояние фельдшера: известно, ведь, что подвыпившему россиянину море по колени.

— Ни за что, ни про что денежки ухнули,— рассмеялся венерик Дыркин. — Лучше бы земляков водочкой угостил...

— Молчи, — огрызнулся Окунев: ему, видно, больно было расстаться со вспыхнув-

шей надеждой. Он отвернулся, решив, должно быть, ни с кем не говорить.

Дыркин вышел из палаты.—Горшков обратился к Бородавкину, продолжавшему лежать с открытыми странными глазами.

— А к тебе, родимый, никакого внимания... ни лекарства тебе, ни пищи...

Бородавкин тихо и как-то пугающе рассмеялся. Скоро вернулся фельдшер, Окунев встрепенулся.

— Только такой дурень, как я, мог рискнуть... Орал, топал ногами... только я упросил. .

— Придет?—посветлел Окунев.

— Сказал... сегодня...

Было очевидно, что фельдшер врет. Ничего не видел только Окунев, как это часто бывает с людьми, страстно цепляющимися за свои надежды.

— Вот спасибо,—прошептал бедняга и не заметил какой подозрительный смешок вспыхнул в глазах фельдшера. Последний подошел к Бородавкину.

— Сейчас доктор будет... главный... старший... понимаешь? Заодно и тебя посмотрит.

Бородавкин молчал, улыбался чему-то своему, невидимому для других...

* * *

После полудня Бородавкин неожиданно впал в глубокий сон. При взгляде на его

лицо, как-то особенно преобразившееся, Горшков полным ужаса голосом прошептал:

— Помирает.

Я бросился в прихожую и позвал фельдшера, игравшего с богатырем Савельевым в шашки. Фельдшер последовал за мной в палату. Приблизившись к Бородавкину, он добродушно рассмеялся.

— Кто в медицине понятья не имеет— только путает и беспокоит других... Известно вам, что такое кома?—Не дожидаясь моего ответа, фельдшер лекторским тоном продолжал:—Бородавкин спит, потому при тифе тоже бывает кома... Поняли?

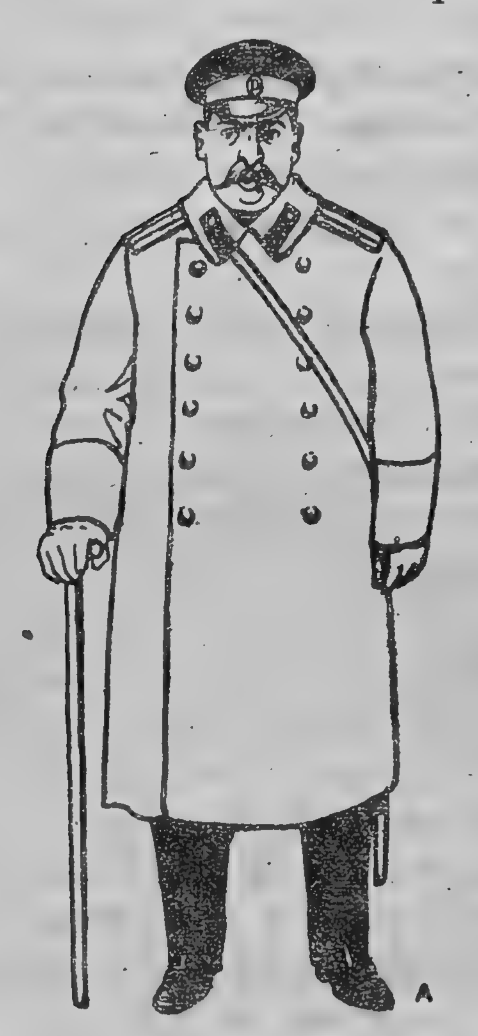
Влетел Дыркин:

— Начальник лазарета...

Фельдшер выскочил из палаты. Прошло с минуту. В дверях показался невысокий толстый брюнет, с двойным бритым подбородком и красивыми карими глазами. Это и был начальник лазарета, он же и воинский начальник, полковник Комаровский. Он сделал шага три вперед, опираясь о желтую палку, и потому, как он выбрасывал левую ногу, нетрудно было догадаться, что полковник не оправился от паралича. Комаровского сопровождал фельдшер и Межидка. Последний остановился у порога, зловеще сверкая глазами, вызывающе на нас поглядывая, особенно в сторону Окунева.

— Стул.

Начальник лазарета грузно опустился на поданный табурет, позвал:



Начальник лазарета.

— Меджид.

Тот сорвался с места и стал, как вкопанный, перед полковником.

— Кто оскорблял честь военного мундира?

Я вздрогнул: Межидка, должно быть, не только донес о сегодняшнем столкновении, но наврал и раздул.

— Вот оскорблал и бунтовал, — указал Межидка на побледневшего Окунева. — Гово-рил солдат подлэц, стрэлал подлэц, началство подлэц.

— Ничего подобного,—вырвалось у меня. Комаровский оставался внешне спокоен, но выражение его лица меня встревожило. Я испугался за бедного Окунева. При моем

восклицании полковник взглянул на табличку над моей койкой.

Его лицо потемнело от прилившей крови. Он снял фуражку, провел платком по лбу и снова ее надел.

— Как фамилия?—обратился он к Окуневу. Последний встревоженно ответил. — Я так этого дела не оставлю...

— Ваше высокоблагородие,—начал было Окунев...

— Тут у вас одна компания.

Комаровский встал и обратился к Межидке.—Поступай так и впредь. Обо всем докладывай начальству. Молодец.

Полковник удалился. Фельдшер и Межидка последовали за ним.

XVI.

Ночью Бородавкин напугал. Удалось оторвать на несколько минут фельдшера.— он играл в соседней палате в карты—чтобы, вместо помощи Бородавкину, услышать благодушную нотацию:

— А где я вам возьму врача? Наши ночные дежурства на бумаге. Не знают порядков... только от дела отрывают...

На рассвете, когда, после бессонной ночи, я лежал с закрытыми глазами, Горшков тревожно позвал:

— Господин вольноопределяющий...

Я открыл глаза. Горшков сидел на койке и, стараясь не смотреть в сторону Бородавкина, нервно вздрагивал.

— Что с вами?

Я не могу здесь больше... Помогите выйти в прихожую... Такая слабость, что сам не в силах...

Я оставил койку, надел туфли, халат и подошел к Горшкову...

— Вы легли бы,—предложил я, обеспокоенный выражением и цветом его лица.— Авось уснете.

— Нет, посижу в прихожей... Бородавкин... Страшный такой.

Я помог Горшкову одеться, вышел с ним из палаты.

— Здесь холодно,—вздрогнул я, когда мы очутились в передней.

— Ничего, посидим.

Мы опустились на скамью без спинки, стоявшую у грязной сырой стены.

Двери обеих палат были, по обыкновению, раскрыты настежь. В другой палате, битком набитой, как и наша, больными, ближе к двери, лежал солдат с гниющим носом, разрушаемым, должно быть, волчанкой.

— Давно служите?

— Третий год.

— Кажется 12-ой роты?

— Да.

— Кто ротный командир?

— Горянский... Бьет... — Горшков едва слышно, с усилием добавил.—И меня прошлым летом...

Из нашей палаты донесся короткий стон Бородавкина.

— Плох,—вздрогнул Горшков.—Хотя бы дали ему спокойно помереть. Вы еще мало знаете Котикова... Была недавно история... Привезли больного... Свободной койки нет... Котиков приказал... умирающего Петрова... тоже тифозного... перенесть в мертвецкую... Живого... слышите?

Я обрадовался, когда Горшков—не сразу, незаметно для себя — задремал, склонил голову к моему плечу. Я старался не шевельнуться: больно было прервать забытье страдальца. Остро, как никогда, я чувствовал свое сердце, но то были чувства не отчаяния, не уныния...

Горшков очнулся, смущенно от меня отвернулся. С минуту молчал, потом негромко заметил:

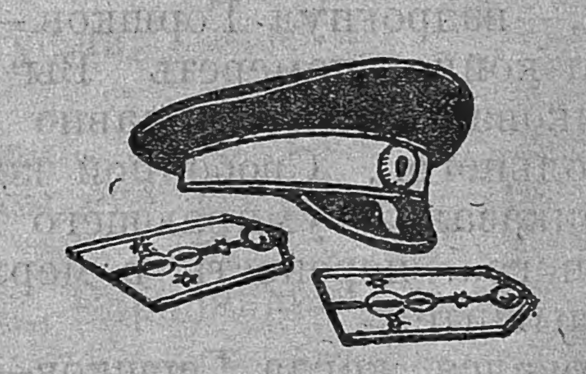
— Котиков так не отпустит. Фелшер прав: без молочка от котика не отвязаться...

— Не унывайте,—взял я его руку,— скоро освободитесь...

— Дожить бы,—болезненно улыб[...]
Горшков.

Тихо, подчеркивая выражением л[...]
голоса всю глубину надежды, я пром[...]

— Побольше бодрости. Доживете.



Цена 28 коп.

